

СОСТОИТ ЛИ НЕУДАЧНОЕ ОБЩЕСТВО ИЗ НЕУДАЧНИКОВ? (до января)

Вот какой странный разговор вышел — об успехе. И в самом деле, время ли рассуждать об успехе одной отдельно взятой личности в истерзанной неудачами, больной стране, да еще сейчас, когда от удачливости, ежели таковая вдруг с тобой приключилась, в пору пригнуться к людям на глаза не показываясь? А почему, собственно, не время? Может быть, самое время как раз.

Итак, три с половиной года назад Сергей Каледин в возрасте 38 лет увидел свою повесть «Смирненное кладбище» напечатанной в «Новом мире» и на следующее утро проснулся знаменитым.

Что, по-вашему, успех по-советски!

Очень приятное состояние. Ну что же, ведь получилось самое главное: удар равен замуху. Замух был долгий, растянутый на десять лет, проходил он в относительной бедности, в недоумении на самого себя. Сейчас я об этом вспоминаю, как о дурном сне, вроде бы все это было не со мной, а я всегда был с успехом, всегда меня печатали, переводили, никаких проблем с изданием не было, а была только одна проблема — где найти время и впечатления, чтобы что-то написать, какую еще байку рассказать читателю, а все, что предшествовало, вся эта чудовищная мякина куда-то отлетела.

— Это и есть успех по-советски, когда десять лет колуешься, а потом — все есть!

— Да он и по-советски успех, и по-нидерландски, по-еврейски, по-американски... Успех — он и есть успех. Человек что-то делает, то, что он делает, не приводит к желаемому результату, а он уже немножечко так вешает, чуднует, дичает человек, и так ему поднимать еще десятилеток лет — и дело сделано: появляются какие-то необратимые изменения в психике, характере, ему уже не войти в нормальную ситуацию. А вот как раз первые десять лет — самое время, такой вшивопроберочный этап, чтобы со вкусом воспринять успех.

— Наше общество особое, неприкосновенное для успеха. Вот вопрос: состоит ли неудачное общество из неудачников? И как себя в нем чувствует человек, который вдруг удачу склопотал?

— Конечно, общество неудачников, так эта селекция была задумана в 17-м году, чтобы вверх выбивались худшие, а все лучшие оставались внизу. Кстати, отчасти благодаря этому мы до сих пор еще военно не перевернулись: наверху сидят маршалы и генералы по принципу негативного отбора — и там худшие.

— Вот мы никак не можем понять, почему все время возвращаемся на круги своя. А может быть, все просто — за последние годы многие добились успеха, но на другом-то конце скопились такая масса неудачливцев, что инерция назад тянет.

Что-то в этом, конечно, есть. Но с другой стороны, Мюшарта и Сальери Пушкин написал — сколько? — 160 лет назад. Сюжеты-то вечные. В природе человека вместе с шестью литрами крови заложены компоненты зависти, нежелания добра другому. В наших Сальери, конечно, сказывается семидесятилетнее зацикление на «новом» строем. Но ведь и удачники у нас тоже закаленные, не чета каким-то там дистиллированным удачникам, которых чуть пихнешь, они упали, заплакали, — наших голыми руками не возьмешь.

— Как вы думаете, что бы произошло, пояись «Смирненное кладбище» сейчас?

— Я плохо представляю писателя, который бы сегодня возник из небытия и получил массовое признание. Заваленность нашего сознания, ушей и глаз такова, что притупилась возможность воспринимать что-либо. Уж не знаю, какое поколение нужно выкинуть, чтобы привлечь внимание и стать знаменитым. Пояись сейчас солженицынский «Иван Денисович» — для меня он все равно стал бы учебником письма, но так не было бы, наверное, для миллионов. Разоблачительный накал уже снят, а художественность не сразу бьет в глаза.

— Что вам принес успех?

— Возможность сказать что-то — раньше приходилось орать в полный голос, напрягая голосовые связки, все равно не слышали, только близкие люди слышали. А теперь можно говорить чуть не шепотом — и даже, что называется, с похмелья не прославившись, — воспринимаешь как открытие.

— Ну, может быть, есть в этом и свои минусы.

— Огромные минусовые стороны. В том, что приглашают и сразу печатают. Редакторы не влезают в текст письма. Исчезли те условия, борясь против которых автор лучше, изобретался, хитрил, умел, набивал руку, жизненный опыт, готовился к сказке всеми этими дикобразами и чувствовал себя работником. А сейчас компонент ратоборства иссяк. Облегченность — это что, благое дело? Нет. Теперь все эти функции надо включать в свой обиход — быть себе и надсмотрщиком, и кнутом-погонялой, и редактором, и даже... цензором. Скажу крамолу: цензура в широком смысле слова — не как мордатый хохот в Главлите, а как трудная пробиваемость литературы — сыграла свою положительную роль. Душила природа графоманов, не давала им расцвести. И писателей, конечно, душила. Но их-то мы сейчас и читаем.

— Что ж вы, такой удачник, а пишете все о неудачниках, прижженных неудачниками? Тут уж и советская власть особа ни при чем. Вереница каких-то сереньких, незаметных людей.

— Их судьба меня действительно занимает сильно, постоянно. Вообще, яркие фигуры для меня менее интересны, чем неяркие. Может быть, это какая-то моя специфика с отрицательным знаком. Вот в «Новом мире» выйдет мой «Поп и работник», и вроде бы трилогия завершится — кладбище, стройбат, деревенская церковь. И все не слава Богу. Вроде что-то светлое есть — и хохмы какие-то, и веселость, я сам, себя перечитывая, смеюсь, а радости мало. Ну, естественно, на кладбище, но

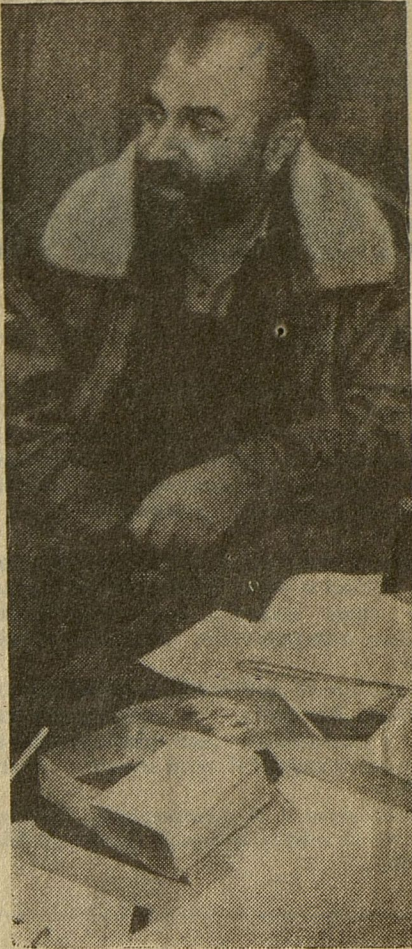
мало радости и в деревне, мало радости в церкви да и в армии — какая уж тут радость? Верится в какую-то абстракцию: что Бог учредил этот свет, чтобы все-таки в итоге он не развалился. Ну, а если читатель способен почувствовать моим бедолагам низко-рожденным — не Марленам Дитрихам и Кассиусам Клеем, а самим уж низкопробным и низкодранным человеком, то и хорошо. Вообще идеал — когда мы плачем над Акакием Акакиевичем. А что в нем нового, что даже интересно? А «Старосветские помещики» — почему мы до сих пор читаем про них? Сидят два старых деревенских дурня, никому не нужные, ничего не сделавшие, — и вдруг на века.

Тайна сия велика есть.

ПОСЛЕ ЯНВАРЯ

...Вот и выяснилось: то, что происходило эти шесть лет, было аномальным поведением для коммунистов, они микрировали, их политика была замаскирована под демократическую. И, к сожалению, многие поддались этой светомыслие и приняли ее за естественный свет.

А теперь все выходит на круги своя, мы видим, что властью они ни с кем делиться не собираются, что демократические устремления находятся в противоположном конце комнаты от них. Сейчас все радикализировалось, пришло в движение, и хотя это и прозвучит страшно, в этой чудовищной, кровавой ситуации все-таки есть позитивное зерно: сдвинулось с мертвой точки состояние застоя перестройки, что-то начало действовать. Неизвестно, куда



дый день подкидываю какие-то словечки. Еще совсем недавно «поговорить» было «побазарить», а сейчас, глядишь, появилось — «фильтуй базар!», мол, «говори поцелесообразней». Или вдруг мой сосед сказал: «Да он лепит все, что споня на язык принесет!» Вот из этого состоит литература, в том числе и великая. Жить в стороне от всех этих кшнурков в стакане», «фильтуй базар» и того, что «споня на язык принесет», — смерть, медленное самоубийство.

Я знаю, что поезд ушел, — на пятм десятилет лет не вращают в новую жизнь, невозможно оторваться от своей, прежней. Это только в очень раннем возрасте получается переселить деревце, ребенка, душу с одной почвы на другую, а взрослое дерево поди хорошо пере-сади, все равно оно подыхает, загибается — закон такой у жизни почему-то. К сожалению, некоторые уникальные опыты Бродского принимают за систему, а это исключение, лишь подтверждающее то правило, что любая пересадка вредит росту растения.

— Ну почему же, был, к примеру, Довлатов...

— Довлатов действительно был, что и подтвердил своей скоропалительной смертью в 49 лет. А в Америку ездят не для того, чтобы помарить в таком возрасте. Я думаю, он от тоски умер, от переизбытка. То, что в его произведении блестящих принимают за систему, а все мы смеемся, книги его оплодотворяют душу и жить хочется, почитав Довлатова, — так это именно потому, что вся эта веселость, как у Зощенко и Гоголя, замешана на чудовищном страдании и крови. От страшной смерти

А НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ СПОКОЙНЕЕ...

Разговоры с Сергеем КАЛЕДИНЫМ

РАЗГОВОРОВ БЫЛО
ЧЕТЫРЕ. ТРИ ИЗ НИХ
ВО ВРЕМЕНИ
РАСПОЛОЖИЛИСЬ ТАК —
ДО ЯНВАРЯ, ПОСЛЕ
ЯНВАРЯ И СОВСЕМ
НЕДАВНО, ПЕРЕД ЕГО
ОТЪЕЗДОМ В АМЕРИКУ —
ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
В ГАРВАРДСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ.

свалится, к чему придет, очень мало шансов, что мы выберемся на широкую демократическую дорогу, скорее наоборот, сейчас другие настроения, но тем не менее то, что трясину провалою, вот это болото, в котором мы жили несколько лет, все-таки во благо. Потому что состояние зстоя демократии — гной, способный развредить без всяких видимых амьштеств любую живую ткань, омертвлять. Что же делать-то?

Если не быть одержимым идеями, что завтра-послезавтра, через год наступит благосостояние, если эту фантастическую идею все-таки похоронить, забыть и знать, что дело это обречено на долгие, долгие годы — борьба с коммунизмом, вернее, даже не борьба, а самоуничтожение, отмирание его, — вот если с этим смиришься, и жить легче будет. Дело долгое, система распадается, она распалась уже в половине мира. Но у нас она агонизировать будет дольше, у нее бешеная инерционность, связанная с масштабами страны, с предрассудками, с бедностью, с культурным ужесточением...

Русские сократили татаро-монгольское иго, когда народилось поколение, которое в глаза не видало этих страшных пожаров, разорвов, смертей, Орды. Они однажды очнулись, пацаны лет по 17—18: а чего было-то, какая еще дань, кто это приезжает из Орды? Да не дам я ему ничего... Поколение, не знающее непосредственных свидетелей крови и страха. У нас такого нет. Вот мне 41 год, а я чувствую, как сталинская парша где-то во мне сидит: я знаю, как бывает, как быть, хотя и не свидетель тому. Но уж очень близко лежит. А вот мой сын, например,

не знает и, несмотря на книжки, которые будет читать про ГУЛАГ, про все злодеяния коммунистов, Ленина, все-таки не испытает непосредственной контактной боязни. Вот это поколение пацанов, может быть, и выстоит.

КЛЮЧ ОТ ДОВЛАТОВА (перед отъездом)

Очень хочется написать о том, что такое русский человек за рубежом — не турист, это не интересно, мне не интересно. А вот русский человек, насильно, или полунаильно, или в силу каких-то обстоятельств переселенный, пересаженный на другую почву. Но руки обрублены — как дотянуться до чужой территории, не зная языка и уж точно зная, что никогда не выучишь, все равно выйдет филькина грамота, купленный аттестат.

Вот сейчас мне многие завидуют: ох, вовремя ты едешь на Запад, наверное, останешься, забывая, что все-таки я не спекулянт ошощи, не доржик, а работник которого так есть нужда, не балерун, а писатель в России, живущий только в этой среде, в этом воздухе, гипнотическом дозольно, и на этой земле, зыбкой, шаткой и неуверенной. Какой же с меня прок будет за рубежом, их обществу, — ну, недели две их поразвлекаю, месяц, два месяца порассказываю байки, попользуюсь с ними из граненого стакана водки, они поудивляются... Дальше что? Чем жить? Крутиться, как белка в колесе, на стером материале, высасывать из пальца какие-то русские сюжеты, потому что знаю я только Россию и с каждым днем буду удаляться, удаляться от нее... То, с чем я работаю, мой материал, мое сырье — язык, он все время разветвляется, кустится, меняется, я за этим слежу и ловлю, что называется, кайф.

В мое время двадцать лет назад родителей называли предками, потом — это мне мой сын рассказывал — предки стали «черепами», «щерами», а последняя конструкция — это «шнурки». Мой сынок говорил с товарищем: «У тебя шнурики в стакане!» Я, конечно, не понял этого эсперанто. Выяснилось: «У тебя родители дома?» У меня коробка с надписью «Чепуха», в которую я каж-

дней великих сатириков, веселителей жизни нашей, думается мне, растут аналогии в сторону кончины Сергея Донатовича Довлатова, обожаемого мною.

Собственно, и началом этой моей поездки в Америку, возбуждением ее была предлагаемая встреча с Сергеем Донатовичем, с которым мы находились в переписке. Вот теперь эта встреча не состоится.

— О чем же вы переписывались, если не секрет?

— О включении его вещей в составленный мной сборник современной русской прозы.

— В каком смысле русскоязычный?

— Сначала был сборник «Последний этап» — писателей, живущих в России. А вот на второй сборник, всего-то в тридцать листов, мне прозы на пять с плюсом в России уже не хватило. Пришлось вылезать за границы, искать по сусекам: в Париж — за Лимоновым, в Лондон — за Зиновием Зинковым, в Америку — за Сергеем Донатовичем Довлатовым. Я ему написал, и в подтверждение своей симпатии он мне прислал такой универсальный инструмент, который включал в себя и ключ развальной, и отвертку, и гайки, и все это в одной такой штучке с рукояткой.

— Символически прислал!

— Не мог же он всерьез думать, что у меня нет отвертки. Наверное, чувствовал, что мне будет дорого получить от Довлатова такой подарок... Очень хотел с ним встретиться, чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть свое понимание его прозы. Уверен, мне бы он рассказал все, как есть. А он так страшно подтвердил мое предположение — своей смертью. А тот факт, что Сергей Донатович, будучи человеком гениальным, так и не овладел английским? И этого при том, что у него не было таких настроений: я — русский, и все остальное от фонаря. Просто времени, наверное, не хватало. Он был задавлен русским духом, время его задавлено. И печататься-то здесь он хотел только в официальном издательстве «Советский писатель». Вот ведь какие же экзотерсис неожиданные выделяет патриотизм, как никогда нам не даётся с исподу. Выяснилось, что Коля этот, или «отрок Николай», как, по его словам, его называли на занятиях в семинарии, поет в церкви неподалеку от нашего посёлка. И так я увидел эту никогда не виденную мною семинарию изнутри, представил, как он проищает голос перед службой на амвоне в пустом храме...

Стал я ходить кругами вокруг той деревенской церкви, в которой пел мой телемастер, «отрок Николай». Староста, старуха в черном, все время от меня

ту, русскому писателю, там делать. Иному какому-нибудь брату — английскому писателю во французской державе или, скажем, американскому в итальянской, наверное, есть что: в каждом из них содержится какой-то космополитический компонент сердца, душевной организации, а у нас, увлы... Я ни в коем случае не хочу сказать, что положительная особенность, нет — это последние страшные крепостнической, бесправной системы и теории, но это факт.

Думаю, что сейчас грядет новая литература — о них, о тамошних, например, об американцах в Америке, написанная не нашими эмигрантами, — эзскими гастролерами. Вот сейчас в Америке Татьяна Толстая, человек блестящего дарования. И я уверен, что темой ее творчества вскоре станет зарубежье — не очерки, не прогулки по Флоренции, они годились при железном занавесе: кто-то вырвался и подкормил. Но проза о западной жизни с русской колокольни появится вот-вот.

ИСПОВЕДЬ АТЕИСТА

(авторский комментарий
к «Попу и работнику»)

От одного к другому — вот и вся моя религия: от отца Владимира (Шибавы) до отца Александра (Меня) — одного изгнанного, другого убивенного. И повесть моя между ними.

С тех пор, как себя помню, стал думать — а чего человек живет, зачем умирает, всего-то главных вопросов на белом свете пять-шесть. И захотелось мне пронохать, что ж такое религия на Руси. С одного боку присматривался, с другого, заходил в церкви — да, красиво, хорошо и лададом пахнет приятно, пение замечательное и убранный... Вроде так близко лежит и такая за ней традиция, казалось бы, подойди поближе, разберись — а нет, не получается.

Семья нерелигиозная: бабушка — беспартийный большевик, дедушка правда, не большевик, но в Бога не веровал, меня не крестили, про существование церкви узнал только лет в восемь, когда впервые услышал звон колоколов в Басманном, у себя дома. В первом классе Клавдия Сазонова за-служенная учительница школы РСФСР, заставляла Нину Шипилову растегивать воротничок и прилюдно снимала с нее крестик, мы вопили: «Позор! Позор!» Через день, отплакавшись, да снова приходила с крестиком и была для меня, как завешенная, — встречались они тогда среди нас, вот и крестик расплавался в том же ряду — неприличном, непристойном... Так дело шло до той поры, пока первый близкий не помер — первый был дедушка, как почти у всех это бывает, — и тут встал вопрос, куда же он отправился и зачем. Вот тут-то пятнадцати лет от роду меня всерьез и задело.

Так что же не пускало в церковь? Сначала тот крестик заклейменный. Потом сама церковь. Исходило из нее некое неприглашение ко входу.

И вот однажды сломался телевизор плохойный у меня на даче. Вдруг в калитку стучится детина полупьяный, зловонный, модного обличья: «Не нужно ли починить телевизор?» Я обомлел, а как стал он в ящике копать, слетела с него шапка, и увидел я длинную косицу. «Слушай-ка, — говорю, — а чего у тебя косица-то?» Он: «Так я ж в Загорске учусь». И тут я почувствовал этокое дрожание в коленях: на лавца и зверь бежит. Я тогда уже воево писал, а за церковь лишь издали потлащивал и задумывался, как бы ее узнать с исподу. Выяснилось, что Коля этот, или «отрок Николай», как, по его словам, его называли на занятиях в семинарии, поет в церкви неподалеку от нашего посёлка. И так я увидел эту никогда не виденную мною семинарию изнутри, представил, как он проищает голос перед службой на амвоне в пустом храме...

Стал я ходить кругами вокруг той деревенской церкви, в которой пел мой телемастер, «отрок Николай». Староста, старуха в черном, все время от меня

открещивалась. А я все время навязывался, пытаясь выведать, что же происходит за полуразрушенной оградой. И даже какие-то дурочки заметки набрасывал: голубые колокола на фоне осеннего неба, за церковью пробегает лось, олустив отогнанную рогами голову к жнивью, асперхивает огромное стадо гусей, прямо, как из Пушкина: «гусей крикливых караван тянулся...». Как-то на станции стою, жду электричку. Подходит ко мне та самая старуха староста и просит: «Поехал бы ты в Москву, привез мне какого-нибудь мужичка в истопника, хоть убогого, глупого, только неплюющего и боговерующего, чтоб церковь не спалил. Батюшка истопника выгнал. А зима на носу, трубы размерзнут, фрески попадут, выйдет грех большой».

Оказалось, что такие мужички, чтоб за сто километров да в неведомую деревню ехать, в Москве перевелись. Я предложил в истопника себя, и она неожиданно согласилась. Завали ее Вера Борисовна Бахматова, староста Покровской церкви. Она-то — под именем Веры Ивановны, Князевой — и станет главной героиней повести «Поп и работник».

Так началась моя церковная жизнь. Служил я там полгода, через полгода уволился. Это было время прохождения корректур сверок, чистых листов «Смирненного кладбища» в «Новом мире». И что удивительно: если поначалу клыр во главе с батюшкой очень напряженно ко мне относился — чурик, то потом, когда дело подошло к корректуре статьи-послеловия Игоря Ивановича Виноградова, все расслабилось, поняли, что я не ворог и не засильник КГБ. И статью Игоря Ивановича читали после обедни за столом на все голоса. Я думал, что светское вхождение в такую замкнутую жизнь, как церковная, вообще исключено и статья не будет понята деревенской церковной общиной. Однако ж нет: когда читалась эта статья, связавшая судьбу моего героя Воробья с судьбой русской церкви, — одна из первых программных статей в защиту религии вообще и православия в частности, все застолье сидело тихо и каждый абзац звучал особенно вдумчиво. На меня даже стали поглядывать как на героя дня и спасителя, хоть изредка и говорили: «Не слушай ты радиостанцию «Сасобод» в трапезной, где искушут Богомольцы», пытались окрестить. К моменту публикации «Смирненного кладбища» закончилось и мое служение в Покровской церкви.

Вот ведь как получилось — в повести «Поп и работник» я хотел рассказать, как религия хороша, а вышло, что нашел я за оградой только одну неграмотную старуху Веру Борисовну Бахматову. Оказывается, что весь реальный мир, который споспешествовал этой повести, окружал ее, — все это чепуха, выморок по сравнению с мистическим чувством этой старухи, стоящей одной ногой в могиле и, в общем-то, никому не нужной. Оказывается, на ней держится все православие, в моей повести держится, — а значит, и для меня.

Еще не начал я Покровскую церковь топить, когда вывели за ее шат и вынудили уехать за рубеж отца Владимира (Шибавы) — в повести он тоже есть, — человек, от которого впервые услышал я такие слова об обращении: эти ворота закрыты и втискиваются в них с трудом, а не стадам. Не хотел я нигде с повестью спешить, думал еще пошлифовать. Да тут убили Александра Меня, и понял я, что больше держать ее не могу. Сначала неосознанная торопливость какая-то появилась, а потом суверенное чувство: мне быстрее она свет увидит, тем быстрее убийцу найдут. А его (или их) все-таки найдут, хоть и не хотят искать, должны найти. Иначе — как с попустительством сумгаитской резне начались гражданские войны по всей стране, так с попустительством этой пробелы пойдут гулять он по головам политических противников, и никто из нас никогда больше не заснет с уверенностью, что проснется живым.

Разговаривала Елена ЯКОВИЧ

